

Л. И. Сараскина

ПОЭТИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕЧТЫ ДОСТОЕВСКОГО О РОССИИ И ЕВРОПЕ

Стихотворная строка как русская метафора западного мира

Взаимоотношения Россия и Запада, отношение России к Западу и Запада к России со времен петровских реформ было центральной проблемой российской политической, философской, а также художественной мысли, глубочайшей, зачастую весьма болезненной, интеллектуальной рефлексией. Каким путем пойдет Россия в своем развитии — проторенным западным или неким новым, особенным? Станет ли Россия европейской страной, то есть, рассуждая в терминах эпохи, передовой и «благополучной»? Или останется державой азиатской, то есть, опять-таки согласно общепринятым понятиям, отсталой и «проблемной»?

Именно эти вопросы были в XIX в. ключевыми вопросами русской общественной мысли, именно они разделили русских мыслителей на славянофилов и западников. Этот цивилизационный спор до сих пор остается актуальным, и время ничуть не снизило его остроту. Кто мы — Запад или Восток? Кем нас считают в Европе? (скорее всего, не Европой). Кем нас считают в Азии? (скорее всего, не Азией). Кем мы хотим быть сами? Где мы? Кто мы? Куда и откуда идем?

Одной из самых ярких художественно-публицистических позиций в этом споре была точка зрения Достоевского: Россия и Европа — лейтмотив его публицистики на протяжении двадцати лет, насыщавшей полемические диалоги его романов. Достоевский-почвенник надеялся примирить противоречия России и Европы, мечтал о синтезе двух равноценных и равнозначных начал: родной почвы и западной культуры. На этом пути у него были предшественники — сторонники и оппоненты, люди думанья в эпоху деланья и люди деланья в эпоху думанья.

Русской историей Достоевский увлекался с самого детства, и это страстное увлечение не покидало его до конца жизни. Многотомная «История государства российского» Н. М. Карамзина начала выходить за несколько лет до рождения Достоевского, последний, незаконченный двенадцатый том вышел после смерти историка в 1829 году. Для Достоевского это была главная книга его детских и отроческих лет. К 1870 г. относится его признание, адресованное Н. Н. Страхову: «К статье о Карамзине (Ва-

шей)¹ я пристрастен, ибо такова почти была и моя юность и я возрос на Карамзине» (29₁; 153).² А вскоре после этого он снова писал: «Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец» (21; 134).

«История» Карамзина была для писателя в детстве «настолярною книгою, и он читал ее всегда, когда не было чего-либо новенького», — вспоминал младший брат писателя Андрей Михайлович, — тем более, что в доме был «свой экземпляр» этого сочинения.³ По свидетельству П. П. Семенова-Тян-Шанского, близко знавшего Достоевского еще в 1840-е гг., будущий писатель знал «Историю» Карамзина «почти наизусть»⁴. Шестнадцатилетний Достоевский рекомендует читать «Историю» Карамзина своей младшей сестре. «Варенька, наверно, что-нибудь рукодельничает и, верно уж, не позабывает заниматься науками и прочитывать „Русскую историю“ Карамзина. Она нам это обещала» (28₁; 38). По рекомендации Достоевского «Историю» читали и его дети.⁵ За несколько месяцев до смерти писатель рекомендовал дочери одного из своих адресатов читать исторические сочинения: «Хорошо прочесть всю историю Шлоссера и русскую Соловьева. Хорошо не обойти Карамзина. Костомарова пока не давайте» (30₁; 212).

Об «Истории» «бессмертного Карамзина» и о нем самом спорят герои Достоевского — Фома Опискин («Село Степанчиково»)⁶, старушка Анна Андреевна Ихменева («Униженные и оскорбленные»)⁷, и сам Достоевский не раз обращался с полемическими целями к разным эпизодам «Истории» в своем «Дневнике писателя». Как отмечает А. В. Архипова, исследовавшая идеологический аспект отношений Достоевского к Карамзину, автор «Истории» мало интересен Достоевскому как писатель, приверженец сентиментализма; другое дело Карамзин-идеолог, исторический мыслитель, пишущий о России.⁸ С ним у Достоевского, автора «Ряда ста-

¹ Речь идет о статье Н. Н. Страхова «Вздох на гробе Карамзина» (Заря. 1870. № 9), написанной в полемике с работой А. Н. Пыпина «Очерки общественного движения при Александре I» (Вестник Европы. 1870. № 9), где Карамзин назван реакционером.

² О своем восприятии Карамзина, характерном для многих современников Достоевского, Страхов писал: «Я вам открою, что я воспитан на Карамзине, что мой ум и вкус развивался на его сочинениях. Ему я обязан пробуждением своей души, первыми и высокими умственными наслаждениями» (Заря. 1870. № 9. С. 207).

³ Достоевский А. М. Воспоминания / Ред. и вступ. статья А. А. Достоевского. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1930. С. 68–69.

⁴ Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары. Т. 1. Детство и юность (1827–1855). Пг., 1917. С. 202.

⁵ См.: Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской. М.; Пг., 1922. С. 91.

⁶ «Если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за „Марфу Посадницу“, не за „Старую и новую Россию“, а именно за то, что он написал „Фрола Силина“: это высокий эпос! Это произведение чисто народное и не умрет во веки веков! Высочайший эпос!» (3; 69–70).

⁷ «Мы-то, Ихменевы-то, еще при Иване Васильевиче Грозном дворянами были, а что мой род, Шумиловых, еще при Алексее Михайловиче известен был, и документы есть у нас, и в истории Карамзина упомянуто» (3; 218).

⁸ См.: Архипова А. В. Достоевский и Карамзин // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: Наука, 1983. Т. 5. С. 101–112.

тей о русской литературе», идет напряженный спор: в 1861 г. Карамзин в понимании Достоевского — писатель книжный, головной, по его повестям и «фарфоровым пейзажикам» нельзя судить о душе народа (19; 40); повесть Карамзина «Фрол Силин» Достоевский воспринимает как пример произведения, из которого о русской истории можно узнать не больше, чем из иностранных сочинений. «Точно на луне или в „Марфе посаднице“ Карамзина» (19; 47), — восклицает Достоевский по поводу проекта книги для народного чтения.

Совершенно очевидно, что Достоевский был в курсе всех обсуждений основного исторического труда своей эпохи и той полемики, которая шла вокруг исторических сочинений Карамзина. Семнадцатилетним юношей Достоевский прочел полемическую по отношению к Карамзину «Историю русского народа» Н. А. Полевого⁹, пристально следил за «Историей России с древнейших времен» С. М. Соловьева, которая начала выходить в 1851 г. (к 1867 г. вышло 17 томов; уезжая за границу, Достоевский взял вышедшие тома с собой).¹⁰

Переломным моментом, повлиявшим на восприятие Карамзина Достоевским, стало первое заграничное путешествие писателя в 1862 г. и чтение им (тогда же) полной версии карамзинских «Записок о древней и новой России». Под влиянием «Записок...» полностью меняются взгляды Достоевского на русский XVIII век, на реформы Петра Великого. Достоевский был поражен, как далеко зашел Карамзин в критике петровских преобразований, как ясно увидел их антинациональную форму. Мысль Карамзина о расколе русского общества в результате реформ Петра I, вывод о вредности возведения северной столицы «среди зыбей болотных», суждение о том, что русский человек, став гражданином мира, перестал быть гражданином России, создали основу взглядов Достоевского на проблему «Россия и Запад». Карамзин, на котором «возрос» Достоевский-юноша, стал базовым источником мысли для Достоевского — исторического публициста.

Вряд ли Достоевскому могло быть известно высказывание Пушкина о принципиально ином, нежели в Европе, рисунке исторического развития России, о национальной специфике ее культурного кода. В заметке о втором томе «Истории русского народа» Николая Полевого (1830), оставшейся в черновиках, Пушкин писал: «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы...»¹¹

Пушкин объясняет свою позицию: в России не было феодализма, не было рыцарства, бояре жили в городах, не укрепляя своих поместий.

⁹ См. письмо Достоевского брату Михаилу от 9 августа 1838 года (28; 51). «История русского народа» в шести томах вышла в 1820–1834 гг.

¹⁰ См.: Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 298.

¹¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 7: Критика и публицистика. Л.: Наука, 1978. С. 100.

«Приняв свет христианства от Византии, она (Россия. — Л. С.) не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-католического мира. Великая эпоха возрождения не имела на нее никакого влияния», — замечает Пушкин уже в другой своей статье («О ничтожестве литературы русской», 1834)¹², которая была опубликована при жизни поэта (и которую Достоевский мог прочесть). В краях оцепеневшего севера не слышно было ни звука от потрясений, произведенных крестовыми походами и другими событиями, составившими историю стран Запада. С другой стороны, поработители Руси татары и монголы не походили на мавров и не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля. Свержение татаро-монгольского ига тоже оставило в стороне народное развитие.

На протяжении веков Россия оставалась чуждой Европе — этот горький пушкинский вывод становится в первой половине шестидесятых годов базовой исторической аксиомой для выработки Достоевским идеологии почвенничества. Пушкин, с которого началось новое историческое самосознание России, как источник историософской мысли становился в один ряд с Карамзиным. Исторический смысл «Истории Петра» и «Истории Пугачева», острый полемический импульс, содержащийся в стихотворении «Клеветникам России» (1831), побуждает Достоевского существенно уточнить свои прежние представления о возможном союзе России с Европой, о пути самой России, отличном от пути европейского.

Пушкин ставит вопрос: в чем тайна ненависти Европы к России? Однако никакой тайны на самом деле нет, и ответ ясен. «Бессмысленно прельщает вас / Борьбы отчаянной отвага / — И ненавидите вы нас... / За что ж? ответствуйте: за то ли, / Что на развалинах пылающей Москвы / Мы не признали наглой воли / Того, под кем дрожали вы? / За то ль, что в бездну повалили / Мы тяготеющий над царствами кумир / И нашей кровью искупили / Европы вольность, честь и мир?»

Пушкин — политический публицист выступает не столько как пророк, сколько как актуальный аналитик, в полном соответствии со своей философией: «Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем»¹³. Так что поэт не пророчит, а провидит истинную причину всегдашней нелюбви Европы к России (о которой и сегодня говорят историки в связи с реалиями Великой Отечественной войны, или Второй мировой, в европейской терминологии). Россия в XX в. сделала с нашествием «наглой воли» то же самое, что сделала в веке предыдущем, сделала это в том числе и для Европы, и за Европу.

Тридцать лет спустя после Пушкина, вступая — от имени редакции журнала «Время» — в полемику с газетой Каткова «Московские ведомости», Достоевский будто продолжает мысль поэта, автора дерзкого по-

¹² Там же. С. 210.

¹³ Там же. С. 100.

литического стихотворения. «Европа нас постоянно не любит, терпеть даже нас не может. Мы никогда в Европе не возбуждали симпатии, и она, если можно было, всегда с охотою на нас ополчалась. Она не могла не признать только одного: нашу силу, — и эта физическая, материальная сила (так, по крайней мере, Европа должна была смотреть на нас) всегда возбуждала в ней негодование. Да ведь и не одна Европа» (20; 100).

Таинственный смысл истории, связь прошлого и будущего, роль России в судьбе Европы — центральное интеллектуальное переживание старших современников Достоевского, испытавших общий порыв сознания к историзму, к философскому осмыслению политического и исторического времени. Так, в начале 1830-х гг. Гоголь был одержим мыслью, что он «создан историком и призван к преподаванию *судеб человечества*»¹⁴. О том же говорил и Герцен десятилетие спустя — в начале 1840-х: «История поглотила внимание всего человечества, и тем сильнее развивается жадное пытанье прошедшего, чем яснее видят, что бывшее пророчествует, что, устремляя взгляд назад, — мы, как Янус, смотрим вперед»¹⁵.

Размышления о смысле истории Европы и России, о качественном различии исторического пути, пройденного европейскими странами и Россией, о потенциале будущего у обеих цивилизаций составили ярчайшую эпоху русской философской мысли. Приоритетное слово здесь было за П. Я. Чаадаевым, автором знаменитых «философических писем». Первое из них (написано в 1829-м, опубликовано в 1836-м) без преувеличений может быть названо «роковым» и «легендарным»; оно получило скандальную известность и сделало автору литературную биографию.

Чаадаев писал: «Мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода»¹⁶. Те могучие впечатления, которыми питаются народы в своем развитии, те эпохи бурных волнений, страстных беспокойств, великих страстей миновали Россию, не оставив следа, считал Чаадаев. В его глазах русская история — это смесь дикого варварства и грубого невежества, заполненная тусклым и мрачным существованием.

Историческая ничтожность и мертвый застой — вот два слагаемых русской жизни, по Чаадаеву. Само место написания письма — Москва — названо Некрополем. Тупая неподвижность бытия, когда не на что опереться; пустая, неразвитая память; культура, основанная на заимствованиях

¹⁴ Цит. по: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. М., 1891. Кн. 4. С. 144. См. также: Тарасов Б. Н. П. Я. Чаадаев и русская литература первой половины XIX века // Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М.: Современник, 1989. С. 8.

¹⁵ Московские ведомости. 1843. № 142.

¹⁶ Чаадаев П. Я. Статьи и письма. С. 41.

и подражаниях; бесплодные призраки вместо твердой, уверенной идеи; бессмысленное историческое прозябание — таков портрет русской цивилизации, по Чаадаеву.

«Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили»¹⁷. Таков был вердикт Чаадаева о бесполезности русских для общего дела европейских народов.

«С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной ниве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами <...> В нашей крови есть нечто враждебное всякому истинному прогрессу»¹⁸ — такова была суть «отрицательного патриотизма» Чаадаева в отношении русской истории.

Еще более категоричен был диагноз, поставленный им настоящему: «Ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миро-порядке»¹⁹. Русским остается лишь завидовать европейским народам — завидовать даже религиозным войнам и кострам инквизиции, ибо в этих кровавых битвах люди, по мнению Чаадаева, искали истину, но попутно нашли свободу и благосостояние.

Европейские успехи в сфере науки, просвещения, культуры, правосознания, бытовых привычек, житейского комфорта, материального достатка и благоустройства, а также колоссальные преимущества европейского католичества над византийским православием, в которых Чаадаев как раз и видит первопричину цивилизационного отрыва России от Европы, приводит его к выводу о *вторичности и мизерности исторической судьбы России*. Потому благо своей убогой и несчастной родины Чаадаев усматривает только в полном копировании всей национальной жизни по европейскому образцу и фактическом подчинении православия католической традиции.

И хотя в процессе собственного развития мысль Чаадаева претерпела большие, иногда кардинальные изменения; несмотря на то что в конце концов он отказался от западнического радикализма, поменяв «негативный» патриотизм на «позитивный»; несмотря даже на то, что главное обвинение России (ее тотальная изолированность от Европы) обернулось главным аргументом ее защиты («мы, свободные от европейских страстей, сможем быть совестными судьями европейского мира»), репутация фило-

¹⁷ Там же. С. 47.

¹⁸ Там же. С. 47–48.

¹⁹ Там же. С. 48.

софа уже была навсегда завершена — тем первым письмом, написанным из «Некрополя» и единственным напечатанным при его жизни.

Оно и стало источником легенд: о Чаадаеве — ненавистнике России, о Чаадаеве — перешедшем в католичество, о Чаадаеве — фанатичном апологете западной цивилизации и римской церкви. Оно стало перчаткой, брошенной всей русской историей и русской мыслью — предшествующей и последующей. Оно стало вызовом едва ли не всем мыслящим современникам Чаадаева: они (а не только император Николай I и шеф жандармов граф А. Х. Бенкендорф) восприняли содержание письма как отрицание той России, которую, по слову П. А. Вяземского, с подлинника списал Карамзин.

«Прочитав статью, нахожу, — начертал Николай I, — что содержание оной — смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного»²⁰. На основании этой резолюции и был составлен ключевой документ «философической» драмы, в котором Бенкендорф рекомендует московскому военному генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну заботиться о дальнейшей судьбе москвича Чаадаева, по нездоровью дышащему «нелепой ненавистью к отечеству». «Жители древней нашей столицы, всегда отличающиеся чистым, здравым смыслом и будучи преисполнены чувством достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок и <...> не только не обратили своего негодования против г. Чеодаева, но, напротив, изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей»²¹.

Шеф жандармов, находясь в Петербурге, отлично знал московские настроения, о чем уведомлял московского генерал-губернатора. «Здесь, — писал граф, — получены сведения, что чувства сострадания о несчастном положении г. Чеодаева единодушно разделяются всею московскою публикою»²². Самое главное, что это была сущая правда: под «всею московскою публикою» подразумевались вовсе не «охранители и мракобесы», толпой стоявшие у трона, а люди несомненных гражданских и культурных достоинств — Н. М. Языков, Д. В. Давыдов, князь П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, В. А. Жуковский, В. Ф. Одоевский, семья Карамзиных...

Однако момент истины состоял в том, что именно Пушкин, друг мятежной молодости, поэт вольности, которого мудрец Чаадаев «поворотил на мысль», решительно оспорил центральный тезис первого философического письма — об исторической ничтожности русских.

Драматический диспут об исторической судьбе России Пушкин и Чаадаев вели независимо друг от друга. В том самом 1829 г., когда Чаадаев обнаружил зияющую пустоту и никчемность русской истории, Пушкин писал «Воспоминания в Царском селе», и перед его глазами явственно

²⁰ Цит. по: Лебедев А. Чаадаев. М.: Молодая гвардия, 1965. С. 173.

²¹ Там же.

²² Там же.

вставали «дней прошлых гордые следы» — славная история «великой жены» Екатерины II и ее гордых орлов — героев, снискавших победы на поле брани. «Сядятся призраки героев / У посвященных им столпов, / Глядите: вот герой, стеснитель ратных строев, / Перун кагульских берегов. / Вот он, могучий вождь полунощного флага, / Пред кем морей пожар и плавал и летал. / Вот верный брат его, герой Архипелага, / Вот наваринский Ганнибал».

Вскоре в стихотворении «Моя родословная» (1830) поэт снова вспоминал «времен превратность» — его предки служили святому Александру Невскому, приложили руку к избранию на царство бояр Романовых; обладая нравом гордым и неукротимым, спорили с царями, попадали в немилость. Русская история у Пушкина переплетена с семейными преданиями и составляет с ней единое целое. Потому и патриотические стихи 1831 г. — «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» — с их державным пафосом кажутся еще и грандиозными историческими фресками: русская история для поэта — духовная родина, родное время и пространство, земля обетованная.

Возражения, изложенные Пушкиным в его письмах к Чаадаеву (от 6 июля 1831 г., после прочтения рукописи 6-го и 7-го «философических писем», и от 19 октября 1836 г., после прочтения в «Телескопе» знаменитого первого письма), — это манифест несогласия с уничижительной оценкой русской истории. «Ваше понимание истории для меня совершенно ново, и я не всегда могу согласиться с вами», — пишет поэт в 1831 г.²³ и повторяет то же самое пять лет спустя.

Как ни странно, но эти письма берутся в расчет гораздо реже, чем пафосный «отрицательный патриотизм» Чаадаева, который так нравился советским историкам (по одним причинам) и всем без исключения постсоветским западникам (по другим причинам). Между тем Пушкин разбивает тезисы Чаадаева пункт за пунктом.

Во-первых, совершенно иначе, нежели Чаадаев, трактует Пушкин факт изолированности России от Европы, видя в нем особое предназначение. Необъятные пространства России поглотили монгольское нашествие — завоеватели-кочевники не посмели перейти западные границы России и оставить ее у себя в тылу. Так была спасена христианская цивилизация — своим мученичеством Россия избавила католическую Европу от всяких помех.

Во-вторых, Пушкин энергично вступает за православие, которое, по Чаадаеву, в силу своего византийского происхождения, виновато в отсталости России. Что с того, что Византия (как источник, откуда Россия черпала христианство) была презираема в Европе? «Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие разве от этого менее изумительно? <...> Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма

²³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 10: Письма. С. 659.

и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве»²⁴.

В-третьих, Пушкин решительно опровергает центральный тезис Чаадаева о «нашей исторической ничтожности». Русская история в лице Пушкина получила заступника и певца, разглядевшего в древних сражениях юность своего народа, его пробуждение и возмужание. Неужели «оба Ивана, величественная драма в монастыре, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели всё это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история? А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж?»²⁵

И вот классически ясный, неотразимый вывод, который — так уж случилось — имел место за три месяца до смерти поэта и стал его завещанием. «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал»²⁶. К выводу прилагались несколько особенно тяжелых для сознания всякого западника слов — о том, что русское правительство все еще единственный европеец в России. «И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания»²⁷. Однако этих строк Пушкина из черновиков неотправленного письма к Чаадаеву 1836 г. адресат никогда, разумеется, не видел и не читал.

Именно Пушкин помог найти Достоевскому интеллектуальное противоядие историческому скепсису Чаадаева и укрепиться в своем горячем чувстве к судьбе России. «Гадкая статья Чаадаева», — напишет Достоевский о знаменитом первом философическом письме в Записной тетради 1864 г. (20; 190). Но, быть может, именно Чаадаев раздражил и раздражил Достоевского, как и многих других своих современников, заставив их острее, напряженнее, драматичнее переживать пути скрещений России и Запада. Личность Чаадаева прочно вошла не только в публицистику Достоевского, она поселилась в романах, в записных тетрадах, письмах Достоевского.

В «Зимних заметках о летних впечатлениях» он ставит имя Чаадаева рядом с Белинским: «Я не встречал более страстного русского человека, каким был Белинский, хотя до него только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал все русское» (5; 50). В 1870 г., в связи с замыслом «Жития великого грешника», Чаадаев волнует Достоевского уже не просто как реальная личность, а как тип, характер. В письме к А. Н. Майкову от 25 марта /

²⁴ Там же. С. 689.

²⁵ Там же.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же. С. 701.

6 апреля 1870 г. возникает волнующая картина: «Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например за границей, на французском языке, брошюру, — очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие: Белинский наприм<ер>, Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.)» (29; 118).

Достоевский оценивает Чаадаева как одного из тех блестящих деятелей, к которым мог примыкать и герой «Бесов» Степан Трофимович Верховенский. «Бесспорно, что и он некоторое время принадлежал к знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего прошедшего поколения, и, одно время, — впрочем, всего только одну самую маленькую минуточку, — его имя многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена» (10; 8).

Глубокие корни пустила чаадаевская легенда и сам образ опального философа в «Подростке». Самоубийство Крафта в романе «Подросток» совершено будто под гипнозом Чаадаева. «Он, вследствие весьма обыкновенного факта, пришел к весьма необыкновенному заключению, которым всех удивил. Он вывел, что русский народ есть народ <...> второстепенный, которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества. Ввиду этого, может быть и справедливого, своего вывода господин Крафт пришел к заключению, что всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализована, так сказать, у всех должны опуститься руки» (13; 44). Идеями Чаадаева и, соответственно, чертами его характера и фактами его биографии наделен Версиков, главный герой «Подростка»²⁸.

Кажется, эпоха Чаадаева, тридцатые годы XIX столетия, — это время, когда русская мысль строила систему координат своего национального бытия. «Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые!» — так реагировал Ф. Тютчев на революционные события во Франции в июле 1830 г. Сороковые годы дали этой проблематике новое освещение — в сочинениях Белинского, Герцена, Грановского, с одной стороны, и Самарина, Киреевского, Хомякова — с другой.

В мае 1849 г. Достоевский, допрошенный Следственной комиссией по делу петрашевцев, не скрывал своего волнения по поводу новой революции в Европе. «На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспремерная. Трещит и сокрушается вековой порядок вещей. Самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть и увлечь

²⁸ См. об этом: Долинин А. С. Последние романы Достоевского. М.; Л.: Советский писатель, 1963. С. 112–125.

в своем падении всю нацию. <...> Это тот самый край, который дал нам науку, образование, цивилизацию европейскую; такое зрелище — урок! Это, наконец, история, а история — наука будущего» (18; 122).

Начало 1860-х гг. — время, когда проблема «Россия и Запад» вновь выдвинулась на первые позиции русской общественной мысли. В «Объявлении о подписке на журнал „Время“ на 1861 год»²⁹ Достоевский впервые представил свое понимание будущего для России после столетия петровских реформ. «Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом. С самого начала народ от нее отказался. Формы жизни, оставленные ему преобразованием, не согласовались ни с его духом, ни с его стремлениями, были ему не по мерке, не впору. Он называл их немецкими, последователей великого царя — иностранцами. Уже одно нравственное распадение народа с его высшим сословием, с его вождаями и предводителями показывает, какую дороною ценою досталась нам тогдашняя новая жизнь» (18; 36).

Однако, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он шел в темноте, но держался своей дороги, обдумывал свое положение, пробовал создать свою философию, искал выход. «Невозможно было более отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь свои корабли, как это сделал наш народ при выходе на эти новые дороги, которые он сам себе с таким мучением отыскивал. После реформы был между образованным сословием и народом один только случай соединения — двенадцатый год, и тогда все увидели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое» (18; 36).

Начало 1860-х гг. — время своего возвращения в европейскую Россию после сибирской каторги и ссылки — Достоевский воспринимает еще и как финал Петровских реформ. «Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена» (18; 36). Но итог долгого пути не оставляет иллюзий: *последователи Петра узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделали европейцами*. «Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных, — точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке» (18; 36).

Русские убедились, наконец, считает Достоевский, что они тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и вернулись на родную почву не побежденными. Они поняли, что не следует отделяться китайской стеной от человечества, что русская идея может стать *синтезом всех тех идей*, которые развивает Европа в отдельных своих Националь-

²⁹ Объявление было напечатано в сентябре 1860 г. в газетах «Сын отечества», «Северная пчела», «Санкт-Петербургские ведомости», «Русский инвалид» и др. с подписью: Редактор М. Достоевский. Н. Н. Страхов указывает в воспоминаниях, что это объявление, несомненно, написано Ф. М. Достоевским и представляет изложение самых важных пунктов его тогдашнего образа мыслей.

ностях. «Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых <...> Способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям» (18: 37).

В начале 1860-х гг. Достоевский, остро сознававший причастность России к европейской судьбе, смог оказаться наконец лицом к лицу с Европой. В 1862 г. он *впервые* в жизни оказался за границей и путешествовал по городам Европы два с половиной месяца по заранее составленному маршруту.

Дорогого стоит его признание в «Зимних заметках о летних впечатлениях» — художественных очерках, написанных через полгода после поездки: «За границей я не был ни разу; рвался я туда чуть не с моего первого детства, еще тогда, когда в долгие зимние вечера, за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф, от которых я потом бредил во сне в лихорадке. Вырвался я наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже всё осмотреть, непременно всё, несмотря на срок» (5; 46).

Однако задачей «осмотреть как можно более» путешествие Достоевского отнюдь не ограничивалось — и вообще оно скорее походило на паломничество по святым местам, нежели на туристическое кочевье. «Я именно размышлял на тему о том: каким образом на нас в разное время отражалась Европа — и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались, и сколько именно нас счетом до сих пор отцивилизовалось?» (5; 55)

«Страна святых чудес» — эта строчка из стихотворения А. С. Хомякова «Мечта» (1835) стала символом (паролем, знаком), которым Достоевский впервые обозначил свой европейский маршрут 1862 г. и который «работал» в этом качестве все последующие годы, почти двадцать лет.

«Страной святых чудес» А. С. Хомяков назвал «дальний Запад», то есть Западную Европу. О чем же «Мечта» Хомякова — стихотворение, написанное в разгар «философических» тридцатых годов, накануне публикации первого чаадаевского письма (которое Хомяков не мог не знать)? Основной мотив стихотворения — это сожаление о том Западе, который так долго был мечтой русских, но теперь утратил свое былое величие и ныне «задернут» «мертвенным покровом».

О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес:
Светила прежние бледнеют, догорая,
И звезды лучшие срываюся с небес.

Святые чудеса, процветавшие на Западе, — это его философия, наука, искусство, литература; это идеи гуманизма, свободы, равенства и братства, это вера в счастливое будущее человечества, это колоссальное богатство западной цивилизации, которым восхищались лучшие русские умы. Перечисление святых чудес в стихотворение Хомякова возвышенно и поэтично.

А как прекрасен был тот Запад величавый!
Как долго целый мир, колена преклонив
И чудно озарен его высокой славой,
Пред ним безмолвствовал, смирен и молчалив.
Там солнце мудрости встречали наши очи,
Кометы бурных сеч бродили в высоте,
И тихо, как луна, царица летней ночи,
Сияла там любовь в невинной красоте.
Там в ярких радугах сливались вдохновенья,
И веры огонь живой потоки света лил!..
О! никогда земля от первых дней творенья
Не зрела над собой столь пламенных светил!³⁰

Собственно говоря, в контексте политической публицистики Достоевского символично само название стихотворения Хомякова. Называть мечтой свои дерзкие политические надежды — совершенно в духе Достоевского. «Постыдно ли быть идеалистом?» На этот риторический вопрос Достоевский отвечает уверенным отрицанием: русский народ не материалист, он не может думать только о насущной выгоде. Стыдиться своего идеализма нечего: идеализм так же реален, как и реализм, и никогда не может исчезнуть из мира (см.: 23; 67–70). Народам свойственно предаваться мечтам, иметь идеалы, святые идеи. Примирительная мечта вне науки — это мечта о национальной идее как идее всемирного человеческого единения (см.: 25; 17). «Утопическое понимание истории» — это мечта о единении всех славян под крылом России, это вера в братство всех людей, надежда на всепримирение и обновление народов на истинных христианских началах (см.: 23; 47, 50). Достоевский мечтательно верит в будущую мирную победу великого христианского духа, сохранившегося на Востоке. На этой ноте (см.: 25; 434) завершается и «Мечта» Хомякова:

Но горе! век прошел, и мертвенным покровом
Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок...
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сияньи новом,
Проснися, дремлющий Восток!

Очевидно: стихотворная строка Хомякова дала Достоевскому точный и емкий образ Запада, который складывался у него под влиянием разных спорящих сторон — Карамзина, открывшего России ее историю, Чаадаева с его историческим скепсисом, государственнической мысли Пушкина,

³⁰ Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 103.

западнических настроений Герцена, национальных надежд его славянофильских оппонентов.

Трижды цитирует Достоевский строку Хомякова в «Зимних заметках...». «Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия! „Пусть не разгляжу ничего подробно, — думал я, — зато я все видел, везде побывал; зато из всего виденного составитя что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама. Вся „страна святых чудес“ представится мне разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе. Одним словом, получится какое-нибудь новое, чудное, сильное впечатление...» (5; 47).

Достоевский называет Европу страной долгих томлений, ожиданий и упорных верований, страной, о которой он бесплодно мечтал почти сорок лет, а в шестнадцать хотел даже бежать в эту страну святых чудес. Почему Европа имеет на русских, кто бы они ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? — восклицает он. Вопрос риторический. «Ведь всё, решительно почти всё, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, всё, всё ведь это оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась» (5; 51). Смог ли кто-нибудь из образованных русских устоять против этого влияния? Если нет, то как при таких влияниях русские окончательно не переродились в европейцев? «Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек!» (5; 51)

Спустя пятнадцать лет образ «страны святых чудес» под пером Достоевского всё так же свеж и привлекателен. Повод вновь заговорить стихами о «дальнем Западе» — смерть Жорж Санд, на которую откликается Достоевский в «Дневнике писателя» 1876 г. Достоевский признается, как много значило это имя в его жизни, сколько принесло восторгов, радости, счастья. Возникнув в «стране святых чудес», сколько русских дум, любви, живой жизни и дорогих убеждений переманило оно из вечно создающейся России. Но должны ли русские превозносить эти знаковые имена? Должны ли укорять себя за увлечения «на стороне»? Достоевский уверен: восхищаясь Жорж Санд и отдавая дань ее памяти, русские «служат прямому своему назначению» (23; 30).

Образ «страны святых чудес», при всех разочарованиях и обманутых надеждах, не померк в сознании Достоевского даже в самые тяжелые времена русско-турецкой войны, когда Европа жестко противостояла русским интересам и русской армии на Востоке. «У нас — русских, — писал Достоевский в «Дневнике писателя» 1876 г., — две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами (пусть они на меня за это не сердятся). Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных Русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение челове-

честву, — не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству» (23; 30–31).

Так же, как и славянофилы, Достоевский считает всечеловечность главной личной чертой и назначением русского народа. Однако он призывает не смешивать служение общечеловеческой идее и легкомысленное шатание по Европе тех русских, кто добровольно и брюзгливо покинул отечество. Русским не стыдно по-настоящему любить Европу — ведь многое из того, что от нее взято и пересажено на родную почву, не копировалось рабски, а прививалось к своему организму, вживалось в плоть и кровь. «Всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира, наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России. Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Диккенс — роднее и понятнее русским, чем, например, немцам <...> Это русское отношение к всемирной литературе есть явление, почти не повторявшееся в других народах в такой степени, во всю всемирную историю, и если это свойство есть действительно наша национальная русская особенность — то какой обидчивый патриотизм, какой шовинизм был бы вправе сказать что-либо против этого явления и не захотеть, напротив, заметить в нем прежде всего самого широко обещающего и самого пророческого факта в гаданиях о нашем будущем» (23; 31).

Достоевский множество раз горько сетовал на то, что Европа Россию не принимает и не любит. Эта горечь была особенно сильной в разгар русско-турецкой кампании. Благородная цель войны, провозглашенная Россией, казалась Европе столь невероятной, что воспринималась как варварство «отставшей, зверской и непросвещенной» нации, способной лишь на низость и глупость. «Взгляните, кто нас любит в Европе теперь особенно? Даже друзья наши, отъявленные, форменные, так сказать, друзья, и те откровенно объявляют, что рады нашим неудачам. Поражение русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им. В случае же удач наших эти друзья давно уже согласились между собою употребить все силы, чтоб из удач России извлечь себе выгод еще больше, чем извлечет их для себя сама Россия...» (25; 196).

Перспектива военного столкновения с Европой — при самом восторженном отношении Достоевского к задаче освобождения славян от турецкого владычества — пугает, ужасает Достоевского. «Мы — сталкиваемся с Европой! Европа — но ведь это страшная и святая вещь, Европа! О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы — эта самая Европа, „страна святых чудес“! Знаете ли вы, как дороги нам эти „чудеса“ и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и всё великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, всё более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западни-

ки, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели–славянофилы, по-вашему, исконные враги ее!» (25; 197–198).

Знаменательно, что такую позицию Достоевский считает именно *славянофильской*. В одном из разделов летнего выпуска «Дневника писателя» 1877 г. с символическим названием «Признания славянофила» он вновь и вновь повторяет свои опасения, что Европа по-прежнему, повсегдашнему, встретит Россию высокомерием, презрением и мечом, как диких варваров, недостойных говорить с нею. Но поразительно, что винит Достоевский в этом не Европу. К себе, то есть к русской стороне, он обращает необходимый и неизбежный вопрос. Что мы скажем или покажем Европе, чтоб она нас поняла? Что у нас есть такого, что могло бы быть ей *понятно*, за что бы она нас *уважала*? Ведь Европа, которая считается только с фактами, непременно спросит нас: «Где ваша цивилизация? Усматривается ли строй экономических сил ваших в том хаосе, который видим мы все у вас? Где *ваша* наука, *ваше* искусство, *ваша* литература?» (25; 198). Что сможет ответить Россия Европе и что сможет предъявить ей?

Стоит заметить, что в подготовительных материалах этого выпуска «Дневника писателя» Достоевский–славянофил высказался еще более определенно: «Я сам европеец. Я благоговел перед великой загадкой „страны святых чудес“. Где факты?» (25; 248).

Однако после событий русско–турецкой войны тезис о русских как о европейцах сильно корректируется. В январском выпуске «Дневника писателя» 1881 г., вышедшем посмертно, Достоевский совершает новое «признание славянофила»: *русский не только европеец, но и азиат*; русскому европейцу пора сознать и выполнить свою миссию в азиатской части страны. Ведь «вся наша русская Азия, включая и Сибирь, для России всё еще как будто существуют в виде какого–то привеска, которым как бы вовсе даже и не хочет европейская наша Россия интересоваться» (27; 32). Писатель выдвигает тезис о центральном значении Азии в грядущей судьбе России.

Достоевский вынужден признать: весь девятнадцатый век русских европейцев преследовала лакейская боязнь и постыдный страх прослыть в Европе азиатскими варварами. Во имя этого стыда и страха были допущены колоссальные ошибки, за которые русские поплатились утратой духовной самостоятельности. Неудачная европейская политика России вызвала у Европы еще бóльшую неприязнь к ней. «И чего–чего мы не делали, чтоб Европа признала нас за своих, за европейцев, за одних только европейцев, а не за татар. Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, сами напрашивались во все ее дела и делишки. Мы то пугали ее силой, посылали туда наши армии „спасать царей“, то склонялись опять перед нею, как не надо бы было, и уверяли ее, что мы созданы лишь, чтоб служить Европе и сделать ее счастливою» (27; 33).

Однако всякая попытка «осчастливить» Европу, освободив ее от очередного деспота и узурпатора, почему–то никому не приносила политического счастья. Так случилось даже и с освобождением Европы от Напо-

леона: «Все эти освобожденные нами народы, тотчас же, еще и не добив Наполеона, стали смотреть на нас с самым ярким недоброжелательством и с злейшими подозрениями. На конгрессах они тотчас против нас соединились вместе сплошной стеной и захватили себе всё, а нам не только не оставили ничего, но еще с нас же взяли обязательства, правда, добровольные, но весьма нам убыточные, как и оказалось впоследствии. Затем, не смотря на полученный урок, — что делали мы во все остальные годы столетия и даже донныне?» (27; 33–34).

Спустя полвека после Пушкина Достоевский видит все те же причины европейской подозрительности и недоброжелательства. Подводя предварительные итоги русско–европейским отношениям, он признает русское поражение в европейской политике. «Кончилось тем, что теперь всякий в Европе <...> держит у себя за пазухой припасенный на нас камень и ждет только первого столкновения. Вот что мы выиграли в Европе, столь ей служа? Одну ее ненависть! Мы сыграли там роль Репетилова, который, гоняясь за фортуной, „Приданого взял шиш, по службе ничего“» (27; 34).

Россия, считает Достоевский, проиграла свою европейскую карту как раз из-за того, что так активно, себе во вред, не считаясь с собственными интересами, не понимая даже, в чем именно эти интересы состоят, бросалась в европейские распри, как в свое кровное дело. Это русское безрассудство только способствовало усилению тех, кто уже завтра готов был напасть на Россию. В этом смысле Достоевский оказался предсказателем русско–германских отношений, как они сложились в XX в. «Не мы ли способствовали укреплению германских держав, не мы ли создали им силу до того, что они, может быть, теперь и сильнее нас стали? Да, сказать, что это мы способствовали их росту и силе, вовсе не преувеличенно выйдет. Не мы ли, по их зову, ходили укрощать их междоусобие, не мы ли оберегали их тыл, когда им могла угрожать беда? И вот — не они ли, напротив, выходили к нам в тыл, когда нам угрожала беда, или грозили выйти нам в тыл, когда нам грозила другая беда?» (27; 34)

Запад, полагает Достоевский, так и не поверил, что Россия считает своим европейским назначением служение Европе и ее благоденствию. Европа никак не смогла признать Россию *своей*, не признала за ней право участвовать наравне с европейскими державами в судьбе их общей цивилизации. Европа считает русских пришельцами, самозванцами: «Они признают нас за воров, укравших у них их просвещение, в их платья перерядившихся. <...> И наконец, мерзим мы ей, мерзим, даже лично, хотя и там бывают иногда с нами вежливы» (27; 35). Не оставалось никаких иллюзий насчет вождя брата: какое братство, если Европа «своими нас не признает, презирает нас втайне и явно, считает низшими себе как людей, как породу» (Там же).

И тем не менее, несмотря ни на что, Россия, по мысли Достоевского, не должна отворачиваться совсем от Европы, тем более — от «окна» в Европу. Он снова вспоминает нетленный поэтический образ и не находит слов лучше, сердечнее: «Нам нельзя оставлять Европу совсем, да и не надо.

Это „страна святых чудес“, — и изрек это самый рьяный славянофил» (27; 36). Как свое политическое завещание (жить ему оставалось не более месяца) произносит Достоевский поразительные слова в адрес Европы — поразительные и ошеломляющие, если учесть все минувшие войны, в которых Европа была для России или ненадежным союзником или коварным противником. «Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными» (27; 36).

То есть такая мать (именно мать, а не мачеха!), которая не любит и не уважает свое неразумное, навязчивое дитя, порой ненавидит и боится его, не доверяет ему, подозревает в дурных и злых намерениях, считает вором, ряженым, желает ему хиреть и слабеть, а при попытках нежностей с отвращением отворачивается. Иными словами, выходило, что привязанность России к Европе — страсть роковая, неотступная, безответная и всегда жертвенная. Мы сами, пишет Достоевский, сделали для себя из Европы какой-то духовный Египет. Не пора ли позаботиться об исходе, перестав быть рабами и приживальщиками? Не пора ли собраться с мыслями, сосредоточиться на себе, жить своими внутренними интересами?

В контексте политического завещания Достоевского (если можно считать таковым последний раздел «Дневника писателя» 1881 г., где писатель прощался с «выбывшими из списков» русскими богатырями, солдатами генерала Скобелева, погибшими на полях сражений³¹) патетические монологи Версилова и Ивана Карамазова выглядят грустным расставанием со «страной святых чудес».

Немало сердечных, задушенных мыслей Достоевского выскажет герой «Подростка» Андрей Версилов, отнесенный к тому нигде не виданному высшему культурному типу, которого нет в целом мире, — типу «всемирного боления за всех» (13; 377). Болеть за всех — это и есть назначение русского культурного человека: один лишь русский получил способность становиться наиболее русским именно тогда, когда он наиболее европеец. «Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль. <...> Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия» (13; 377).

Но — нельзя не почувствовать, как поэтическая мечта о «стране святых чудес» разбивается вдребезги, и остаются уже только осколки прежней

³¹ См.: «Да здравствует победа у Геок-Теле! Да здравствует Скобелев и его солдатики, и вечная память „выбывшим из списков“ богатырям! Мы в наши списки их занесем» (27; 40).

красоты. Лик европейского старого мира под угрозой; европейцы сожгли Тюильри — и Версилов видит, как наяву, заходящее солнце последнего дня европейского человечества, слышит звон похоронного колокола. В момент войны между Францией и Германией Версилов ощущает себя, русского, *единственным европейцем* в гибнущей Европе. «О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями <...> Одна Россия живет не для себя, а для мысли <...> вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы!» (13; 377).

Чем дальше, тем больше «страна святых чудес» остается в сердце и в памяти героев Достоевского лишь как дорогое кладбище. В лучшем случае им повезет лишь проститься с этой страной — не более того. «Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что всё это давно уже кладбище и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими» (14; 210).

Но, как известно из времени и пространства романа «Братья Карамазовы», Иван, герой последнего романа Достоевского, так и не добрался до Европы. Митя, выбирая между свободой в Америке и каторгой в Сибири, выбирает родные осины. Тема кладбища с «дорогими покойниками» парадоксально возникает и имеет место лишь в связи с убиенным отцом и кровным братом — ненавистным убийцей и самоубийцей Смердяковым. Европа отдалялась от погибающих Карамазовых навсегда.